

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

Глава 6

Катастрофа в школе. Начало путешествия

Осенью 1953 года по совету жены я перешел из обычной школы в железнодорожную школу рабочей молодежи, в которую ранее поступила работать и жена (преподавателем истории) по совету ее отца, руководившего, напомним, в МПС отделом образования и культуры. На истфак жена, между прочим, тоже пошла учиться по совету отца. «История — это школа управления государством!» — любил он говорить. И на истфаке тогда училось очень много детей первых лиц партии и государства.

В школе рабочей молодежи весной 1955 года произошло событие, которое подтолкнуло меня к началу моего «путешествия в будущее».

Близился к концу голубой месяц май, когда в один из дней я присутствовал ассистентом на выпускном экзамене по математике в десятом классе. На этом злосчастном экзамене я отобрал шпаргалку у одного очень неприятного великовозрастного типа, некоего Воронцова. Он уж слишком нагло списывал, в открытую, с вызовом. Он был из того сорта учеников ШРМ, которые откровенно ничего не учили, рассчитывая на то, что из школы их все равно не выгонят и оценку ниже тройки в аттестате зрелости не выставят. В те времена в школах свирепствовала так называемая процентомания, когда качество работы директора и школы определялось главным образом по среднему проценту успеваемости и проценту отсеиваемости, т. е. по доле учеников, бросивших учебу или исключенных из школы. Чем меньше эта доля — тем лучше, значит, поставлена работа в школе. Шло даже социалистическое соревнование между школами, у кого процент успеваемости будет выше, а отсеиваемости — ниже. И потому каждая двойка на экзаменах была трагедией для директоров, «ЧП», как тогда говорили, и директора требовали от учителей двоек не ставить. В результате ученики не утруждали себя учебой, и работа учителей превращалась в унижительное и бессмысленное занятие. При каждой «оттепели» газеты публиковали статьи против «процентомании», но все оставалось на прежнем месте.

Так вот, отобрал я тогда шпаргалку у Воронцова, но он, разумеется, выклянчил у проводившего экзамен учителя свою тройку, и я забыл о нем. Выхожу из школы, иду через задний двор с группой учеников, наслаждаясь окончанием нудного дня и майским вечером, и вдруг меня нагоняет Воронцов и, заметно нервничая, предупреждает, что если я и на экзамене по химии (когда мое слово будет решающим) отберу у него шпаргалку или выставлю двойку, то он «наведет» на меня своих друзей-уголовников, и они прикончат меня, «зарезут», как он просто выразился. Ни больше, ни меньше. Сказал — и ушел вперед, оставив меня размышлять, что же мне теперь делать.

И с этого эпизода пошла накручиваться, как это часто случалось в советские времена, невероятная история, которая закончилась для меня тяжелейшими переживаниями и практически запретом работать преподавателем, в конечном итоге — решительно повлияла на всю мою жизнь.

В тот вечер угрозу Воронцова слышали несколько сопровождавших меня учеников, и на другой день об этом знала уже вся школа. Мне ничего не оставалось, как пойти к директору,

точнее, к директрисе, коей была пожилая преподавательница конституции по фамилии Черкасова, всегда носившая на груди орден Ленина. Я в соответствии с существовавшими для подобных случаев правилами потребовал снять Воронцова с экзаменов. Меня поддержала завуч, и директриса вроде бы согласилась. Но через день или два она вызвала меня и заявила, что советовалась в Министерстве путей сообщения, которое курировало школу, и там ей сказали, что Воронцова нельзя снимать с экзаменов, потому что угрожал он мне вне школы и имело, мол, место «взаимное озлобление». (Или в подобном случае должна возникать взаимная любовь?)

Мне пришлось подчиниться. Но на экзамене по химии Воронцов выкидывает новый номер. Видя, что я слежу за ним, чтобы он не мог списывать, и поняв, что я буду спрашивать его по-настоящему, он встает и заявляет, что отказывается сдавать мне экзамен, потому что я «на него уставился», и, хлопнув дверью, покидает класс.

Директриса Черкасова и тут попыталась спасти положение, предложив потребовать от Воронцова, чтобы он извинился передо мной. Но учителя, члены экзаменационной комиссии, сгоряча не смогли сдержать своего возмущения и в один голос вскричали, что Воронцову необходимо выставить единицу и тем самым отстранить от экзаменов, лишит аттестата зрелости. При наличии хотя бы одной неудовлетворительной оценки аттестат не выдавался. Директриса с неохотой согласилась, и я вывел Воронцова в ведомости единицу.

Однако через день-другой я узнал, что Черкасова опять ходила в министерство, на этот раз вместе с Воронцовым и с верными ей учителями в качестве представителей всего «учительского коллектива». И она добилась отмены неудовлетворительной оценки. Было решено, что Воронцов будет еще раз сдавать химию, но уже другому учителю из другой школы, и мне запрещено было даже присутствовать на этом экзамене.

Несколько слов о Черкасовой. Еще с юности у меня осталась не-приятнь к школьным директорам, однако в школе, в которую я попал по воле случая, действительность превзошла все мои самые худшие воспоминания. Черкасова оказалась особой на редкость неприятной, тупой, грубой и одержимой страстью всех воспитывать — и учеников, и учителей. Она была типичным порождением сталинской эпохи. Интересная деталь. Ее сын был известным поэтом-правдистом, т. е. сочинителем патриотических виршей «на случай», которые отличались удивительной даже для такого жанра наглой примитивностью. Учителя шепотом рассказывали, что у него нет никакого образования, что раньше он работал пионервожатым, и главное, был настоящим пропойцей, и часто, напившись, бил свою орденосную мать. Кроме того, ходили слухи, что муж ее был арестован в 37-м году и погиб в лагерях, что она тщательно скрывала.

Для иностранных читателей, да и для российской молодежи надо отметить, что мания воспитывать людей была одной из самых отвратительных черт советского тоталитаризма. Воспитывали человека от ясельного возраста и до гробовой доски. Начальники воспитывали своих подчиненных, коллективы — своих членов, партия (т. е. партийное руководство) — и тех, и других. Чуть что не так, высшее начальство кричало на низшее: «Плохо воспитываете коллектив!», «Усилить политико-воспитательную работу!». Воспитание это было конгломератом из политзанятий, лекций, собраний и элементарного укрепления дисциплины — требования беспрекословного подчинения начальству. Но это было и воспитанием готовности донести на товарища, предать его, услужить начальству безропотно, выступить штрейкбрехером, солгать в пользу коллектива, т. е. опять же начальства, «петь в унисон», «идти в ногу» и т. д. Одновременно это было и жестокое подавление всех проявлений настоящего коллективизма и солидарности.

Как-то еще в университете меня и двух моих товарищей по группе студенты уполномочили попросить начальника военной кафедры перенести зачет, который должен был быть перед каким-то очень важным профильным экзаменом и мешал хорошо к нему подготовиться. Мы трое вошли в кабинет к начальнику кафедры, пожилому генералу, и только открыли рот, как он попросил нас выйти и заходить по одному. «Мы решили просить Вас», — начал было я, зайдя в кабинет, но генерал мягко остановил: «Не мы, а — я, вы — лично! В Советской армии не полагается коллективных просьб и действий, это может квалифицироваться как бунт». После меня он вызвал второго студента. «Что Вы хотите заявить?» — «Так ведь Белоцерковский уже сказал...» — «Он говорил только за себя!» — воспитывал нас генерал. И так каждого заставил сказать: «Я прошу перенести зачет, потому что мне трудно будет подготовиться к экзамену...».

Но вернусь в школу рабочей молодежи. Черкасова, конечно, сразу почувствовала мое критическое отношение к ее воспитательской деятельности и невзлюбила меня, что называется, с первого взгляда. «Я с самого начала поняла, — скажет она потом, — что Белоцерковский — чуждый человек в советской школе!» А тут еще прибавился мой отказ вступать в партию! Я уже к тому времени свирепо ненавидел существовавший в стране строй, но отказ мотивировал, как полагалось в таких случаях, «недостаточной политической зрелостью».

Больше всего мне доставалось от директрисы за «двойки», которые я по неопытности стал было выставлять нерадивым ученикам. «Эта двойка означает вашу собственную недоработку! Вы выставили ее самому себе!» — кричала Черкасова. Она доходила до того, что делала подобные выговоры и мне, и другим учителям прямо в классе, при учениках, собственноручно возвращала им на экзаменах отобранные у них учителями шпаргалки, заставляла учителей выскребать ошибки в письменных работах. И ученики из нахальных, видя такое, нагтели еще больше. Ко всему еще среди учеников и учителей она имела постоянных осведомителей, к числу которых, как я узнал позже, принадлежал и мой добрый ангел Воронцов.

После того как мне стало известно, что Воронцов будет еще раз сдавать химию другому учителю, я сам пошел в министерство. Но этот мой поход, как я и предполагал, окончился безрезультатно. Чиновники меня выслушали (во множественном числе я говорю о них потому, что сидели они в кабинетах всегда и везде парами, наверное, чтобы никто не чувствовал себя вне контроля) и посоветовали быть осторожным: «Мы не заинтересованы потерять такого молодого преподавателя, как вы. Кто его знает, этого Воронцова!». Совет этот больше смахивал на угрозу. Как водится, чиновники пообещали «разобраться». Но переэкзаменовку Воронцова не отменили, и он сдал и химию, и остальные экзамены, и получил желанный аттестат.

Однако история на этом не кончилась. Черкасовой в министерстве дали добро на возбуждение моего «персонального дела», что в те времена означало нечто вроде судебного разбирательства, как правило, с заранее предрешенным исходом.

Для меня начались черные дни. Я узнал, что Черкасова проводит серьезную подготовку к собранию: допрашивает учителей и учеников. В том числе и на предмет, не вел ли я с ними «антисоветских разговоров»? Потом я узнал, что двое учеников донесли на меня. «Разговоры» я действительно вел.

У читателя может возникнуть вопрос, не пытался ли я использовать «родственный ресурс» — попросить помощи у тестя, в ведении которого находились железнодорожные школы рабочей молодежи? Нет, не пытался, потому что заранее знал, что он не станет мне помогать.

Отношения у меня с тестем были холодными, он меня недолюбливал, чувствуя мой антисоветский настрой, но главное состояло в том, что дело мое приняло «политический» по тем временам характер, и попытка защитить меня была бы для него рискованной.

Педсовет, на котором разбиралось мое «дело», потряс меня до глубины души. Потом, когда я стал заниматься беллетристикой и написал повесть по мотивам этого события, я назвал ее «Половина жизни». Такое ощущение было у меня после педсовета, будто разрубил он мою жизнь на две части.

Никогда не забуду атмосферы, которая встретила меня в учительской: директриса с дергающимся плечом, напряженные, мрачные лица учителей, люди не смотрят друг на друга, а на меня украдкой кидают такие взгляды — смесь страха и любопытства, какими смотрят, наверное, на приговоренных к смерти. Эти взгляды — моих коллег! — были страшнее всего.

На педсовет явилась и представительница министерства, что было для меня очень плохим знаком.

Директриса в своем докладе, который она читала по заготовленному тексту, возвела гору немислимых обвинений. Не даю ученикам твердых знаний, а потом шпионю за ними на экзаменах, грубо отбираю шпаргалки, грубо задаю вопросы, нервирую, терроризирую, не уважаю «советских тружеников», «смотрю на них, как на какую-то низшую расу»....

— Мы вам этого в советской школе не позволим! — патетически восклицала Черкасова, потрясая красным, испачканным чернилами кулачком. Орден Ленина кольхался на ее обширной груди, отвислые, бульдожьки щеки горели малиновыми пятнами, на шее клубился пышный розовый шарф — по торжественному случаю!

Черкасова обвинила меня даже в том, что я вообще выдумал про угрозу Воронцова. Когда же я назвал имена находившихся тогда рядом учеников, она с торжеством зачитала показания одного из них, где говорилось, что он не слышал никаких угроз со стороны Воронцова. Не обошлась она и без иезуитской советской самокритики: «На нас тоже лежит доля ответственности за то, что Белоцерковский мог так вызывая себе вести. Это для нас сигнал, что мы ослабили воспитательную работу в коллективе!». Сказала она тогда и о том, что «сразу поняла, что Белоцерковский — чуждый человек в советской школе!». И добавила, что хочет навести справки, какая репутация сложилась у меня в МГУ! (Плохая, конечно. Я заработал там по комсомольской линии строгий выговор с предупреждением и с занесением в личное дело «за пренебрежение общественными поручениями и пропуск лекций по марксизму-ленинизму».)

Но добились меня учителя. Только одна учительница выступила в мою поддержку. Ее муж работал главным инженером на предприятии, шефствовавшем над школой, и по этой причине она не боялась Черкасовой. О Воронцове она рассказала, что он раньше угрожал расправой старосте ее класса и был тесно связан с уголовным миром. Но ее слова потонули в потоке враждебных по отношению ко мне выступлений других учителей. Черкасова, догадываясь, видимо, о позиции этой учительницы, и заставила ее выступить одной из первых.

Другие же учителя с наигранным пафосом «искренне» осуждали мое «поведение». Отвозмущавшись, учителя садились на место с такими просветленными лицами, словно совершили мужественный граждан-

ский поступок. Они даже отваживались смотреть мне в глаза. Одни с негодованием, даже с ненавистью, как на «врага народа», другие — с укоризной, поучающе и даже этак сердобольно: для твоей же, мол, пользы делаем это, чтобы ты понял наконец и исправился.

Многие, разоблачая меня, не забывали одновременно и льстить Черкасовой, превознося ее «мудрое руководство». И если я еще мог понять, почему учителя предавали меня и поддерживали директрису, которую ненавидели, то выше моего разума было то, почему они делали это с таким вдохновением.

К концу собрания стали раздаваться голоса, что «при создавшихся отношениях с администрацией» я должен сам покинуть школу. При этом каждый отдавал себе отчет, какую характеристику выдаст мне Черкасова. Почти откровенно поддержала необходимость моего ухода из школы в своем выступлении и представительница министерства.

После заключительного слова Черкасовой кто-то, как это полагалось на советских судилищах, потребовал, чтобы я «извинился перед коллективом» за оскорбление школы и «всего коллектива учителей». И я встал и пробормотал какое-то извинение, что потом, конечно, жгло меня особенно сильно.

В предыдущие годы я пережил катастрофу гораздо более серьезную, когда потерял возможность заниматься наукой, но это жалкое судилище потрясло меня едва ли не сильнее. Нет, видимо, ничего страшнее, чем откровенное — в глаза, обложное предательство коллег, друзей. После такого события встает вопрос: как жить дальше?

Вскоре после педсовета Черкасова предложила мне уйти из школы «по собственному желанию». Это была как бы милость с ее стороны. Но, наверное, так ей посоветовали в министерстве. Дело было все-таки весьма щекотливым.

Характеристику Черкасова написала мне витиеватую, смутную — я ожидал худшей. Но не понравились мне глаза Черкасовой: в них светилось злорадное удовлетворение. В школах, в которые я приходил после этого в поисках работы, мне, после ознакомления с характеристикой, неизменно отказывали. Я понял, что в ней было закодировано что-то очень плохое для меня.

В конце концов я пошел в гороно (городской отдел народного образования) и задал прямой вопрос, что означает моя характеристика и почему мне отказывают в приеме на работу в школах, в которых есть вакансии?

Молодой циничный кадровик объяснил мне, что характеристика эта не закрывает мне возможности работать преподавателем, но ограничивает категории школ, в которых я могу преподавать. На мой вопрос, каковы же эти разрешенные категории, кадровик с наглой усмешкой ответил: это школы, расположенные в местах заключения. Но зарплата там выше, чем в обычных школах, обрадовал он меня. Надбавка, так сказать, на молоко за вредность.

Такая вот получилась история. Уголовник, угрожавший убить меня, добился аттестата зрелости и пошел гулять по жизни уже законченным рэкетиром и бандитом, а мне предложено было добровольно идти в тюрьму! Или — расстаться со специальностью (второй в моей жизни), что я и вынужден был сделать.

Но хочу тут оговориться. Ужасное было то время, ужасный был строй, тоталитарный, коммунистический, социалистический — называйте как хотите, однако для сторонников нынешнего «либерально-демократического» строя в его ельцинской ли, путинской ли фазе должен заметить, что их строй, по крайней мере, не лучше. Каких-то ужасов не стало, зато другие прибавились. Жизнь большинства учителей, в частности, стала еще хуже, много хуже! Демократии в школах не прибавилось, а нищета усилилась.

Во время моей конфронтации с директрисой произошло еще одно событие, сильно повлиявшее на формирование моего мировоззрения. В разгар конфликта, когда я уже знал, что Черкасова допрашивает учеников, не вел ли я в школе антисоветской пропаганды, ко мне подошли двое рабочих учеников-железнодорожников и сказали мне поразительную вещь.

— Вадим Владимирович, — сказали они, — Черкасова допрашивает всех, не вели ли вы с нами антисоветских разговоров. Так вот, имейте в виду, что никто из нас (т. е. из рабочих учеников) вас не выдаст! Ни в коем случае! Будьте спокойны...

И никто не выдал! А это, напомним, происходило всего лишь через два года после смерти Сталина.

Поясню, что антисоветские разговоры я вел в основном с рабочими учениками, с теми из них, которые проявляли интерес и вызывали доверие. Рабочих учеников у нас было примерно процентов тридцать. Остальную массу частично составляла прибалтийская шпана, исключенная из дневных школ, но преимущественно — дети из интеллигентных семей, учившиеся у нас ради получения льгот при поступлении в вузы. Хрущев ввел тогда закон о необходимости двухлетней трудовой практики перед учебой в вузе. И чтобы не терять этих двух лет, в которые можно было и в армию загнать, дети интеллигенции кинулись в школы рабочей молодежи, одновременно работая где-нибудь, а чаще получая фиктивные справки о работе. Без трудовой практики можно было поступить в вуз, лишь имея золотой аттестат и все пятерки на приемных экзаменах. И донесли на меня два представителя интеллигенции. Но эти молодые люди только краем уха слышали от кого-то о моих антисоветских разговорах. С учениками из среды интеллигенции я подобных бесед не вел, так как они были либо трусливы, либо не интересовались «политикой», т. е. жизнью страны.

Поведение рабочих учеников поразило меня, особенно на фоне предательства учителей. Такое не забывается.

К слову, и в других отношениях ученики из рабочих производили сильное впечатление. Они старательно учились, помогали налаживать лаборатории и не только не хамили, не хулиганили, но и шпану в классах заставляли вести себя тихо. Они их не трогали, но если в классе сидело хотя бы два-три рабочих ученика, проблем с дисциплиной не было. «Прибалтийские» боялись их, как мыши кошек, от одного их присутствия стихали!

«Вам хорошо, — говорили учителя своим коллегам, у которых в классах были рабочие, — у вас в классе нет хулиганства». При отсутствии рабочих шпана ходила на головах и издевалась как над учителями, так и над учениками из интеллигенции.

События в школе, как я уже говорил, стали для меня началом пути «в будущее», послужили «ньютонским яблоком», толчком к размышлениям о природе человека и о том, как можно изменить условия человеческого существования, чтобы поведение людей стало более человечным.

Мне было ясно, что причина предательского поведения учителей крылась в их полном бесправии. Ведь все учителя страдали от наглецов и хулиганов, на которых не было управы из-за процентомании и стоящей на ее страже директрисы. Но учителя не имели права голоса ни в каких вопросах, все единолично решал директор. И каждый из учителей думал приблизительно так: если я выступлю в защиту Белоцерковского против Черкасовой, то это ничего не изменит, Черкасова все равно добьется аттестата для Воронцова и Белоцерковского уволит, а потом — и за меня примется!

И тогда впервые я начал задумываться о том, к чему приводит отсутствие у работников права решающего голоса, отсутствие демократии внутри трудовой ячейки.

Рассуждал я примерно следующим образом. Директор-единоначальник, т. е. диктатор — зачем он нужен в школе? Чтобы отравлять жизнь учителям, мешать им работать на совесть, унижать перед учениками, разобщать и сглатывать друг с другом? Реально директор в школе нужен лишь в помощь учителям. То есть не директором он должен быть, а как бы ответственным секретарем. Все в школе зависит от учителя, на уроке он остается один на один с классом, и никто лучше учителей не знает нужды и проблемы школы, и поэтому педагогический совет учителей должен все решать, как парламент в демократических странах. А директор-секретарь вместе с завучем и завхозом должны осуществлять решения учителей, педсовета. В школе, в которой учителя будут главными управляющими, субъектами власти, их авторитет в глазах учеников будет стоять на значительно более высоком уровне, нежели в «директорских» школах.

Люди, слабо разбирающиеся в психологии, не способны себе представить, как тлетворно сказывается на формировании характера детей и подростков подчиненность, зависимость учителей от директора, страх перед ним. Когда директор заходит в класс, и учитель, стараясь не подавать вида, внутренне напрягается, волнуется, ученики все это прекрасно чувствуют и видят. Достойное положение учителя будет способствовать воспитанию чувства собственного достоинства и у учеников, одного из важнейших качеств свободного человека, до сих пор очень слабо развитого в России.

Единственно действенное воспитание — это воспитание примером. Нотации и агитацию дети и подростки пропускают мимо ушей, но зато они обладают острой подсознательной способностью чувствовать, что собой на деле представляют их воспитатели, будь то учителя или родители. И принимают в себя в той или иной мере их истинные качества. Жулик имеет очень мало шансов воспитать своего ребенка честным человеком, а лакей — гордым, как бы они ни старались.

О значении внутренней демократии (и не только для школ) мы еще будем говорить дальше. Пока же, забегаю вперед, скажу, что школы, которые я конструировал в своем воображении, я воочию увидел потом, оказавшись в эмиграции, в Германии, Швейцарии, Голландии, так называемые «вальдорфшULE», и такие же школы-интернаты, и детские сады. Они принадлежат учителям или воспитателям и являются, по существу, кооперативными заведениями с полной внутренней демократией. Никакими директорами-единоначальниками там не пахнет. Выбираются на определенный срок старосты или председатели педсоветов, которые составляют расписание уроков, занимаются хозяйственными вопросами, текучкой, готовят общие собрания, школьные праздники и т. д. Общие собрания учителей решают все главные «законодательные» вопросы: определяют бюджет школы, распределение доходов — на общие нужды школы и на заработную плату; определяют педагогические принципы и методику, часто с привлечением представителей родителей учеников; решают вопросы распределения нагрузки среди учителей, их приема и увольнения (!).

Особенно поразила меня такая деталь: зарплата учителей в этих школах зависит от их семейного положения! У кого больше детей или вообще иждивенцев, тому совет учителей прибавляет зарплату. То же самое, если кто-то в семье тяжело заболел, или пожар случился, или новое жилье пришлось купить-нанять в связи с увеличением семьи.

Преподавание в этих школах, как правило, опирается на принципы Рудольфа Штейнера — педагога, философа, психолога, архитектора, создателя антропософии и гениального человека. Главная цель преподавания состоит в выработке самостоятельности мышления учеников, раскрытии их творческих потенций, воспитании внутренней свободы, ну и конечно, чувства собственного достоинства.

Слава у этих школ такая, что люди в очередь записываются, чтобы определить туда своих детей. И моя дочь была в таком детском саду (в Мюнхене) и в школе-интернате (в Швейцарии). Сначала она ходила в государственный садик при университете. Неплохой был сад. Но мы переехали, и стало нам до него далеко. Отдали дочку в частный детсад. Меня он сразу удивил: теснота, духота, и у воспитательниц кислые лица людей, не любящих свою работу. И начались скандалы: дочь не захотела туда ходить. И тут нам кто-то посоветовал кооперативный детсад, от «вальдорфшULE». Уже только увидев воспитательниц, я понял, что это нечто совсем другое. И действительно, дочь буквально бежала в этот садик. Воспитательницы были такие милые, простые, заботливые, что и сам бы туда пошел!

Но я должен оговориться, что я против платного обучения, а значит — и против кооперативных школ. Еще долго в обществе будет немалое число людей, которые не смогут платить за учебу своих детей. Вдобавок к этому у учителей в кооперативных школах неизбежно возникает стремление смотреть сквозь пальцы на не желающих учиться или плохо ведущих себя детей, натягивать им троечки, чтобы не возмущать их родителей, не терять учеников. Ведь каждый ученик — это доход для кооперативной школы. Получается та же процентомания! Пока кооперативных школ не очень много и для них хватает состоятельного населения, как сейчас в Европе, упомянутые негативные черты не сильно сказываются, но если все школы перевести на кооперативную основу, положение, думаю, изменится в худшую сторону: появится необходимость удерживать учеников в школе во что бы то ни стало.

Школы должны находиться на государственном финансировании, но при полной внутренней демократии, включая распределение фонда зарплаты по воле учителей.

Начав тогда думать над подобными вопросами, я уже не переставал размышлять над ними всю свою последующую жизнь, на которую, в свою очередь, влияла эта работа. Тяжелое положение народа, идиотизм жизни подталкивали мои размышления.